

Михаил Салтыков-Щедрин

Добрая душа



Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Добрая душа

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=319502

Аннотация

Рассказ «Добрая душа», как и рассказ «Годовщина», связан с воспоминаниями Салтыкова о вятской ссылке, с ее двадцатой годовщиной.

Образ героини рассказа – Анны Марковны Главциковой восходит к одной из вятских знакомых Салтыкова. Ранее она была выведена в «Губернских очерках» под именем Пелагеи Ивановны.

Содержание

* * *

ПРИМЕЧАНИЯ

4

21

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Добрая душа



Часто я думаю: что на свете всего милее? и как ни гадаю, всегда выходит один ответ: нет на свете милее доброй души человеческой. Конечно, не всегда хорошо живется доброму человеку; конечно, он даже чаще страдает, нежели другой, который смотрит, выпучив глаза, на мир божий, и нет ему дела ни до чьих великих горестей, но и страдает-то он как-то тихо, сладко, любяще...

Хорошо встретиться в жизни с добрым человеком: во-первых, он всегда много видел, мыслил и испытал, а следовательно, и рассказать и объяснить многое может; во-вторых, самая близость доброй души человеческой просветляет и успокаивает все, что бы ни прикоснулось к ней. Как доходят люди до того, что делаются совсем-совсем добрыми, что не обвиняют, не негодуют, а только любят и жалеют — это объяснить сразу довольно трудно. Однако можно почти без ошибки сказать, что достигнуть этого нельзя иначе, как путем постоянной работы мысли. Когда человек много мыс-

лит, когда он рассматривает не только внешние признаки поступков и действий своих ближних, но и ту внутреннюю историю, которая послужила подготовкой для них, то очень трудно бывает оставаться в роли обвинителя, хотя бы внешние признаки известного действия и возбуждали негодование. Коль скоро мысль объясняет и очищает действие от запутывающих его примесей, сердце не может не растворяться и не оправдывать. Преступники исчезают; их место занимают «несчастные», и по поводу этих «несчастливых» горит, томится и изнывает добрая человеческая душа...

Много встречаем мы на свете людей, но, к сожалению, большая часть их принадлежит именно к числу таких, которые ходят с выпученными глазами и ни о чем слышать не хотят, кроме своих маленьких личных интересов. Эти люди самые несчастные, несчастнее даже тех, кого мы называем собственно преступниками. У настоящего «преступника», может быть, вся душа переболит прежде, нежели он решится на преступление, а этот, что ходит с выпученными глазами по улице, на каждом шагу делает свои маленькие гадости и даже не чувствует, что эти гадости – те же преступления и что из их темной массы источаются все мирские несчастья.

Но встречается немало и добрых людей, и вы, милые дети, всегда скорее всех успеваете отличить их. Когда вы чувствуете, что вам легко и приятно около какого-нибудь человека; когда ваши лица расцветают улыбкою при виде его, когда вас инстинктивно манит приласкаться к нему... знайте, что это

такой же чистый и милый человек, как и вы сами; знайте, что около вас бьется именно то самое доброе человеческое сердце, о котором я хочу повести здесь речь.

Нигде так много не встречается добрых душ, как между женщинами. Мужчина почти всегда по горло занят мелкими своими житейскими делами; он больше на народе, он чаще вынуждается вести борьбу, видеть и терпеть несправедливости. Поэтому у него более поводов воспитывать в себе чувство досады и нет времени соображать свои выводы с выгодами других, нет времени и прощать. Сверх того, известная доля самостоятельности сообщила его действиям несколько хищнический характер, вследствие чего любимыми его пословицами стали: «На то война!» да «Затем в море щука, чтоб карась не дремал!» Напротив того, женщина с самых малых лет почти всегда одна и всегда в загоне; действительная роль, на которую – по крайней мере, в настоящее время – осуждена женщина, – это роль безмолвия и исполнения чужих желаний и прихотей. Вот она и молчит, но в то же время думает, много думает. И чем больше она думает, чем томительнее тянется ее собственная одинокая жизнь, тем более растворяется любящее, доброе сердце. Она видит, как суетится и колотится весь свой век мужчина, как он лукавит и изворачивается из-за куска насущного хлеба, и мысль о «несчастии», которое как бы сетью какую опутало весь людской род, сама собой возникает в ее голове. Муж ли вернется домой злой и хмельной, она думает: «Господи! какой он

несчастный!» Сын ли окажется уличенным в незаконных делах, она думает: «Господи! как он должен страдать и как нужно, как нужно ему любящее сердце, которое могло бы вселить мир в его тоскующую душу!»

И когда женщина захочет утешить скорбящего человека, то можно сказать наверное, что в целом мире не найдется слаще и лучше того утешения. Нет татя, у которого не открылся бы источник слез при виде умиротворяющей женской ласки; нет душегуба, которого сердце не дрогнуло бы перед любящим женским словом. И не потому только, чтобы эта ласка или слово усыпляли человека или заставляли его забыть что-нибудь, а потому, что эта ласка, это слово восстанавливают искаженный человеческий образ, что они вдруг очищают его душу от наносной житейской грязи, что они хотя и не уничтожают прошлого, но делают невозможным возврат к нему...

Когда я был в той трущобе, о которой вам недавно рассказывал,¹ то случай свел меня именно с одною беспредельно доброю женщиной, воспоминание о которой будет благословенно для меня до конца моей жизни. Об ней-то я и поведу с вами речь.

Это была вдова мещанина, Анна Марковна Главщикова. Муж ее когда-то был достаточным купцом, но потом прожился, разорился и умер в мещанах, оставивши Анне Мар-

¹ ...в той трущобе, о которой вам недавно рассказывал... – то есть в Вятке – см. «Годовщина».

ковне самое ограниченное состояние. Как теперь помню, жила она в своем маленьком одноэтажном, об трех окнах на улицу, домике, около которого стоял довольно поместительный анбар с большими створчатыми дверьми. В этом анбаре, наполненном всяким мелочным товаром, обыкновенно торговал Марк Гаврилыч, отец Анны Марковны, старичок древний, словно мохом покрытый, который уже почти ничего не слышал и не видел, но выпустить из рук бразды правления не соглашался. В помощь ему был определен Сережа, довольно бойкий мальчуган, приходившийся Анне Марковне чем-то вроде племянника, и совокупными усилиями они как-то успевали вести дела не в ущерб, хотя отец протопоп соседней церкви всякий раз, как проходил мимо лавки Главщиковых, никак не мог утерпеть, чтоб не сказать:

– Старость да младость в союз вступили; обе вопиют: «Помози!»

Когда я зазнал Анну Марковну, она была уже женщина лет за пятьдесят. Лицо у нее, по-видимому, и в прежние, молодые годы нельзя было назвать красивым, но добродушие и какое-то счастливое спокойствие так и светились во всех его чертах. Часто чувствительность заставляла ее плакать, но она плакала без всяких усилий; брызнут сами собой слезы из глаз и потекут по старчески румяным щекам; и видно было, что ей легко плачется и сладко плачется. Часто она тоже вздыхала, но это были не настоящие вздохи, а какое-то тихое всхлипывание, совершенно подобное детскому. Вооб-

ще некрасивость ее была такого рода, что к ней очень скоро можно было привыкнуть, и чем больше с нею свыкаешься, тем лучше и свободнее при ней себя чувствуешь, так что под конец, пожалуй, это лишенное всякого изящества лицо покажется краше любой красоты.

На дворе у ней всегда бегало великое множество детей. Тут были и дети бедных родственников Анны Марковны, и сироты бездомные, которых она как-то умела всюду отыскивать. Поэтому возня на дворе и у ворот, около лавки, была всегда страшная. Кто на доске скачет, кто в песке копается, кто пироги из глины месит, кто с индейским петухом разговаривает, кто, наконец, подкрадывается к дедушке Марку Гаврилычу и норовит снять у него с носа толстые серебряные очки.

– Кшш... пострелята! – крикнет на них дедушка; но крикнет так незлобиво, что «пострелята» с звонким хохотом брызнут во все стороны и тут же начинают совещаться, какой бы сочинить новый поход против дедушки.

Эта любовь Анны Марковны к детям послужила соединительною связью между ею и мною. Я не могу пройти мимо маленького ребенка без того, чтоб не погладить его по головке или не дать ему пряничка. Анна Марковна сразу заметила это мое свойство, и стал я ей люб. А еще любее я сделался ей, когда она узнала, что я принадлежу к числу «несчастненьких», что я тоже в своем роде «узник», хотя и

хожу каждый день на службу в губернское правление,² чтобы, как выражался Марк Гаврилыч, «всякую вреду строить». А в глазах Анны Марковны после младенца не было в свете краше человека, как «несчастненький» или «узник».

И вот однажды, когда я, настроив в течение утра посильное количество «вреды», возвращался из губернского правления домой и, остановившись около лавки, беседовал с обступившими меня «пострелятами», из калитки ворот вышла сама Анна Марковна.

– Да вы, барин миленький, хоть бы чайку чашечку выкушать зашли! – сказала она мне, – а то уж как-то и стыдно мне, старухе! Все-то вы эту вольницу-то мою ласкаете да дарите, а мне вас и побаловать-то ничем еще не удалось! пожалуйста, миленький, познакомимтесь!

Я пошел за нею, и с той минуты, как переступил порог этого дома, на душе у меня как-то повеселело. Как будто кто-то издалека улыбнулся мне и прилепел меня, как будто давно затерянный и вдруг снова обретенный друг крепко-крепко прижал меня к груди своей.

Часто, почти каждый день я беседовал с нею, и все, что я уже знал, о чем говорила мне книга, все это как будто бы я во второй раз понял, понял и сердцем, и мыслью, и всем существом. Книга жизни, в которой каждое слово как буд-

² ...в своем роде «узник», хотя и хожу каждый день на службу в губернское правление... – Ссылка Салтыкова сопровождалась переводом его из петербургской канцелярии военного министра в чиновники вятского губернского правления.

то дышало и билось, раскрылась передо мной со всеми своими болями; со всей жаждой счастья, которое, словно мираж, манит и трепещет на горизонте, понапрасну только изнуряя и иссушая грудь бедного странника моря житейского. Эта простая, но беспредельно добрая женщина много потрудилась на своем веку и много думала, но додумалась только до любви и прощения. Она не получила никакого образования и потому не всегда умела уяснить себе причины того или другого явления; но так как, в ее лета и при ее обстановке, помочь этому недостатку было уже невозможно, то она совершенно естественно возмещала его тем усиленным горением сердца, которое доступно даже наиболее простому человеку и которое в то же время так много способствует увеличению в мире суммы добра.

Особенными фаворитами ее были: во-первых, дети, во-вторых, мужики, и в-третьих, преступники, или, как она всегда выражалась, узники.

– Не знаю, как ты, дружок, – говаривала она мне (она очень скоро подружилась со мной и начала говорить мне «ты»), – а я так до страсти этих ребятишек люблю! Первое, умны и заняты они очень, второе – зла в них вот ни на эс-только нет! И не думай ты, друг мой, чтобы этакой малец чего бы нибудь не понял! Нет, он, плутяга, от земли на аршин вырос, а уж все смекнул! Ведь он тот же большой человек, только в малую формочку вылит; все равно как вот солнышко в капельке играет, так и в него настоящий-то человек

смотрится!

Говоря это, она гладила маленького внука Сережу, который фыркал от удовольствия, слушая бабушкины речи, и тем несомненно подтверждал справедливость их.

– А расскажите-ка, Анна Марковна, что-нибудь про крестьянскую нужду? – спрашивал я ее иногда, зная, что это один из любимых ее предметов и что ничем нельзя сделать ей большего удовольствия, как доставив случай побеседовать об нем.

– Ах, какая это нужда, мой друг! какая это тяжкая нужда! Кажется, и сердце-то все сгореть должно, как бы настоящим манером подумать об этой нужде!

– И полноте, Анна Марковна! живут они себе припеваючи, только тесненько немножко! – скажешь ей на это, чтоб подстрекнуть и пошутить над ее горячностью.

– Нет, не говори, даже не шути ты этим! Ты взойди только в избу-то крестьянскую, ты попробуй хлеба-то, который они едят, так она, нужда-то ихняя, сама так в глаза тебе и кинется. И опять подумай ты, что для этого ихнего хлеба мякинного да для пустых щей должен он целый век, до самой смерти своей, все работать, все работать! Как только бог души их держит, как только сила-то в них еще остается! Ведь по-настоящему-то, от этих пустых щей бока у человека промыть должно, а он все-то скрипит, все-то работает! И не для себя все работает... да, не для себя!

– А вот в газетах, Анна Марковна, пишут, что мужик от-

того беден, что пьет не в меру! – опять пошутишь над нею.

– Врут все они, врут твои газеты! – вскинется она на меня, – вот кабы и ты поменьше этих враньев-то писал, и ты бы в этой трущобе-то не жил, а, пожалуй бы, в звездах да в лентах мостовые гранил! Ты подумай, какое они слово, эти газетчики-то твои, говорят! Пьет мужик! А сколь часто он пьет, спросила бы я тебя? В неделю, а не то и в месяц раз, на базаре бывши! А слышал ли ты, как мужик на базар-то едет, с чем едет и что он там делает?

– Нет, Анна Марковна, признаться, мало я эти дела знаю.

– Так вот я тебе расскажу. Едет мужик на базар ночью, чтобы поспеть ему в город раным-рано, чуть брезжить начнет. Не спит он, все около воза идет и так-то ноги свои отколлотит, что они у него словно из лаптей вырастать станут. И идет он таким манером верст десятки, и в мокреть, и в пыль, и в снег, и во вьюгу, и в дождик. И лицо-то у него от мороза белеет, и ноги мозжат, и сон-то его валит, а он все идет, все идет, словно у него и невесть впереди какая радость стоит. А везет он, мой друг, на возу-то на своем... знаешь ли, что он везет? Душу свою, друг мой, он везет! душу свою, которая цельную неделю день-деньской надрывалась, недопивала, недоедала, а все думала: «Господи! как бы мне на соль да на щи пустые осталось, чтобы мне христианскою смертью помереть, а не околеть с голоду, как собаке!» Ну, вот, приехал он, продал свою душу-то на базаре... как ты думаешь, куда он деньги-то свои наперед всего понес? В подати, мой

друг, в подати!

– Однако, Анна Марковна, согласитесь, что ведь и казна должна же чем-нибудь жить!

– Знаю, дружок, знаю, что подати платить, – самое есть первое дело, да не про то я с тобой и говорю! Я говорю, как мужику-то больно, как у него сердце-то его бедное щемит! И назябнется-то он, и недоспит-то, и обманут-то его, и обертут-то! Что делать-то ему! ты скажи, что ему делать-то?

– И все-таки не резон в кабак ходить!

– Ну, брат, я вижу, что ты меня только нарочно в сердце вводишь хочешь! Ин, прощай лучше, бог с тобой!

– Ну, полноте, Анна Марковна! вы видите, что я шуточки шучу. Не пошутите вы с нами, вы бы не расходились так, да и я бы не знал, как мужики на базар ездят.

– То-то, мой друг, надо эту жизнь знать, чтобы об ней говорить, а тем паче народ смущать своими речами! Я сама хоть и купчихой росла, а тоже недалеко от этого звания выросла. Вот и ты как станешь вникать, тоже будешь знать, благо наука эта не очень мудреная. И помяни ты мое слово, запомни ты эту приметку: как взглянешь ты на нашего мужика, да затоскует в тебе сердце твое, тогда говори смело: знаю, мол, я нашего русского мужика, потому что без жалости смотреть на него не могу! И будет он тебе так мил, так мил, что и пониток-то его рваный краше ризы нешвенной покажется!

Много рассказывала в этом роде Анна Марковна, и я ни-

когда не уставал наслушаться рассказов ее. Говорила она, как родится русский мужик, как он, словно крапива у забора, растет, покуда в меру разума войдет; говорила, как пашет, боронит, косит, молотит, веет русский мужик, и все куда-то везет, все везет! говорила, как умирает русский мужик кротко, покорно, истово... Рассказы эти не разжигали меня, не поднимали во мне горечи, но, напротив того, как будто смягчали мое сердце. И мне кажется, что действительно бывали в жизни моей такие моменты, когда при взгляде на мужика сердце мое начинало тосковать, и что этими моментами я обязан, никому иному, как именно милой моей Анне Марковне.

– Ну, а «несчастненьких»-то ваших за что вы любите? ведь не за добродетели же они, а за преступления свои узниками-то сделались!

– Да ты, дружок, подумай крошечку, так и увидишь, может быть, что настоящие-то преступники не в остроге сидят, а тут вот, промеж нас с тобой, в миру в вольном веселятся да благодушествуют!

Ответ этот несколько смутил меня. Конечно, думалось мне, есть такие ответы... есть! Но как могла дойти до них простодушная мещанка города Крутогорска?³ Какую такую свою собственную теорию неменяемости соорудила она в

³ ...есть такие ответы ... Но как могла дойти до них простодушная мещанка города Крутогорска? – Речь идет о «теории неменяемости», невинности отдельного человека в преступлениях – следствиях ненормального устройства общества.

голове своей? Ведь при помощи одних внешних признаков, которые только и доступны той степени развития, на которой она находилась, нельзя же прийти к таким нешуточным обобщениям!

На поверку, однако ж, оказалось, что вопросы жизненные, даже наиболее мудреные, суть именно такие вопросы, относительно которых процесс мысли самый простой и процесс самый сложный очень часто сходятся между собой и приводят к одинаковым результатам. Единственное при этом условие, которого нельзя обойти, заключается в том, чтобы мысль шла прямо, чтобы она не увлекалась изворотами и честно и посильно разрешала вопросы, которые представляются ее вниманию.

– Как ты думаешь, – продолжает между тем Анна Марковна, – от сытости, что ли, вор ворует, от хорошего житья грабитель на дорогу выходит? Или, по-твоему, человек так и рождается злодеем? Так вот они, – дети-то! гляди на них! Вот их тут охапка целая, как хочешь, так их и поверни!

Взгляну я на детей, и в самом деле убеждаюсь, что все они такие бравые, добрые и умные, что никак даже вообразить себе нельзя, чтоб из них вышли когда-нибудь злодеи и грабители. Правда, что маленький Петя постоянно ведет упорную борьбу с старым козлом, который греется у конюшни на солнце, и даже нередко обижает старика, но ведь у него на это свои резоны есть.

– Тетенька! Васька возить меня не хо-о-чит! – оправдыва-

ется он всякий раз, как Анна Марковна принимает сторону разобиженного козла.

– Да ведь он, голубчик, старенькой! – увещевает его тетенька.

– Дедушка тоже старенькой, а вот возит!

Во всяком случае, этот признак вовсе не столь решительный, чтобы из него можно было выводить заключения. Да и житье Васьки-козла, в сущности, совсем не худое: сколько раз в сутки тот же самый забияка Петя, натешившись над ним, и хлебца ему даст, и молочка принесет...

– Узы, мой друг, везде есть, – продолжает свою речь Анна Марковна, – и как тяжелы... ах, как тяжелы эти узы! Только понять их нелегко, потому что ищем мы их не там, где искать следует, и на то только горе бежим, которое само нам в глаза тычется! Как думаешь ты, под забором-то расти – не узы это? большую-то дорогу своими ногами обколачивать – и это тоже не узы? А кабак-то! а воровства, да грабильства, да убийства – ведь это, коли хочешь, даже не просто узы, а из всех уз узы! Вот они где, наши мужицкие-то узы, зреют-назревают, а ты их в остроге да между заключенными ищешь! Там ведь, дружок, уж развязка одна, а ты подумай только, какими путями-дорогами до этой развязки-то дойдено!

И от слова Анна Марковна немедленно переходила к примерам, которых знала немало.

– А ты вот попробуй-ко с лаской к нему подойти, к тому, которого ты душегубом-то называешь, так и увидишь, как

его, сердечного, от душевной-то муки перевертывать начнет!

– А вы, верно, пробовали, Анна Марковна?

– Пробовала, сударь, не хвастаясь скажу: не однажды пробовала. Был, я тебе расскажу, у нас в здешнем остроге большой грешник перед богом, Василий Топор назывался. Сколько этот Васютка душ христианских безвременно сгубил – так это и сказать невозможно. Читали это, читали, как на эшафот-то его вывели – даже и на народ-то словно бы страх напал! А он стоит этак, руки назад к столбу связавши, и даже в лице нисколько не изменился! И начали его полысать... Я сама тут, мой друг, была, и хоть мне не впервой эти страсти человеческие видеть, однако и я удивилась, какую он в своем сердце, даже под плетьюми, отвагу сохранил! Только ворочаюсь я с торговой-то площади домой, словно пьяная, и думаю: «Господи! да неужто ж есть на свете такой человек, который не видел бы лица твоего!» И решилась я тогда же пойти к нему в больницу и утешить его...

Анна Марковна останавливалась и несколько мгновений не могла продолжать от волнения.

– Вот и пришла я к нему в больницу... Много ли, мало ли говорили мы между собой, – не мудреные, мой друг, наши речи! – только стал он понемногу смягчаться. «Васенька! – говорю я, – сердце у тебя, друг мой, горячее, укроти ты его, утоли ты вредную строптивость свою!» Посмотрел он на меня, и словно как бы в первый раз ему в голову что пришло. «Не стерпел ты уз своих тесных, говорю, в лесах да по доро-

гам горе свое большое разнести захотел!» – «Не стерпел», – прошептал он. «А ты бы, говорю, подумал, какие узы другие-то христиане терпят; может, горше твоих!» – «Горше», – говорит. И вижу я, стал он напряживаться, и пот по нему проступать начал. И вдруг он хлынул. Только какая это горесть, друг мой, была, я даже выразить тебе это не могу! Уж не то что плачет или рыдает, а просто криком кричит!.. И мучится... и мучится... Так мне после этого пятна-то, которые у него на щеках да на лбу напятнаны были, краше честного девичьего румянца показались!

Признаюсь откровенно, когда я выслушал этот рассказ, из глаз моих полились невольные слезы. Мне почуялось, что я вдруг сделался чище и лучше, нежели был прежде, и что, за всем тем, я и пяди не стою этой простой и милой женщины, которой голос, точно горнило всеочищающее, умеет проникать в самые темные тайники души и примирять с совестью самые упорные и закаленные натуры.

– Так вот как насмотришься таких примеров, – продолжала она, – так и посовестишься сказать про человека: вот вор! а этот вот убийца! Ведь и убийце Христос сердце растворил, ведь и в ад он, батюшка, сходил... а мы!

Давно нет уж на свете Анны Марковны, но я до сих пор благословляю ее память. Я убежден, что ей я обязан большею частью тех добрых чувств, которые во мне есть. Я мог бы привести здесь много разговоров, которыми мы корота-

ли с нею долгие зимние вечера; я мог бы рассказать, как она учила детей идти прямою и честною дорогой и даже под страхом смерти не сворачивать с нее, но предпочитаю возвратиться к этому предмету в особом рассказе.⁴

Скончалась она тою самою «крестьянскою» смертью, о которой столько раз говорила и которой сильно желала. В один из теплых, весенних дней, возвращаясь из церкви, она промочила ноги и простудилась. Вечером я ее еще видел, и хотя тут был лекарь, который запрещал ей говорить, но такая уж она была словоохотливая старушка, что удержаться никак не могла. На другой день утром я узнал, что Анна Марковна уснула...

Марк Гаврилыч жив и до сих пор, но от старости уж ничего не говорит, а только все плачет. Сережа, старший внук, достиг двадцати лет и управляет дедушкиным капиталом, которого, за добродетель Анны Марковны, набралось очень довольно. Часто проходя мимо знакомого дома об трех окошках, я видел, как в одном из них улыбалось личико хорошенькой мещаночки, добрым выражением своим напоминавшее лицо покойной тетеньки. Я знал, что это личико принадлежит жене Сережи и что в доме все счастливы, как будто живет еще в нем и приголубливает всех и каждого вечно любимая тень Анны Марковны.

⁴ ...я мог бы рассказать, как она учила детей идти прямою и честною дорогой... но предпочитаю возвратиться к этому предмету в особом рассказе. – Этот замысел не был осуществлен.

ПРИМЕЧАНИЯ

Добрая душа. Впервые – журн. «Отечественные записки», 1869, № 3.

Рассказ «Добрая душа», как и рассказ «Годовщина», связан с воспоминаниями Салтыкова о вятской ссылке, с ее двадцатой годовщиной.

Образ героини рассказа – Анны Марковны Главщиковой восходит к одной из вятских знакомых Салтыкова. Ранее она была выведена в «Губернских очерках» под именем Пелагеи Ивановны. Влияние этой «доброй души» на свое духовное развитие Салтыков всегда оценивал очень высоко. Горестные монологи Анны Марковны о крестьянской доле (перекликающиеся с речами Якима Нагого в «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова) звали передовую молодежь проникаться нуждами и страданиями народа и обращаться к нему со словами правды о его положении и истинных интересах. Облик и мирозерцание простой женщины, возвысившейся в своей «работе мысли» до понимания социальной обусловленности нравственной жизни человека, убеждал читателя-друга в возможности и успешности революционно-просветительной работы в народе.

С. Д. Гурвич-Лищинер